

Глава первая

«Я не похож ни на кого на свете»

1 Он родился 28 июня 1712 года в семье бедного женеvского часовщика Исаака Руссо. Так что вскоре цивилизованное человечество отметит его трехсотлетие.

У Жан-Жака Руссо было две жизни.

Одна – великая, мужественная и мечтательная. Она – за недолгими исключениями – полна потрясений и страданий, начиная уже с периода пребывания в «Эрмитаже» (с апреля 1756 до декабря 1757 г., см. ниже).

Другая – счастливая и спокойная, которая всегда цвела в его сердце и воображении, но которой было не суждено, да и невозможно, осуществиться.

Руссо сопровождали две самые глубокие, но трудно совместимые, потребности: в одиночестве и в общении с людьми.

У него были два излюбленных занятия: неспешные пешие прогулки, лучше без спутников, и, конечно, сочинительство – музыкальное и словесное. Первое началось с юности, второе – лишь к сорокалетию! То есть к 50-м годам XVIII в.

Первое дало любопытные, даже популярные тогда, но давно забытые композиторские результаты. Зато сделало

его примечательным музыковедом и – именно по этой части – одним из энциклопедистов.

Второе принесло бессмертие. «В одно мгновение я переместился в другую вселенную и стал другим человеком». Ниже я не раз вернусь к обстоятельствам этого «мгновения» – также и для любознательных читателей, которые помнят только имя Руссо. Но вообще-то «мгновение» знаменито.

У него были две страсти: к женщинам и к природе, лучше дикой.

Моя цель – понять эпохально-переломное значение Руссо, прежде всего его «Исповеди», для становления принципиально нового, т. е. *нетрадиционалистского*, индивида. Цель почти банальна, но очевидна далеко не для всех и в обильной историографии вряд ли сформулирована с достаточной теоретической резкостью. По-моему, до сих пор не додумана всемирно-содержательная переломная роль именно фигуры Руссо в исторических метаморфозах смысла «Я». Об «индивидуализме» Жан-Жака, разумеется, писали и слышали все, однако в размытом или зауженном, в отвлеченном или же всего лишь психологически-бытовом смысле. Но не как о всемирно-значимом *уникальном социально-историческом и логико-культурном феномене*.

2 Связано это с тем, что совершенно преобладающим остается представление, согласно которому явления «личности» и «индивидуальности» реально существуют в любой культурной эпохе начиная с античности и Средневековья... С той только разницей, что в каждой культуре конкретные и системные наполнения таких категорий различны.

На мой взгляд, дело обстоит совершенно иначе, и они, эти идеи, появляются только в XVIII в., а затем у романтиков, т. е. *только на весьма подвинутой новоевропейской основе, как необходимый культурный момент начавшейся тогда модернизации*. С этого времени такие идеи отчетливо кристаллизуются и определяют характер личной рефлексии индивидов. С этого времени позднее понятие «индивидуализм» становится исторически укорененным и адекватным¹.

Под *индивидуальностью* я разумею человека, не только более или менее отличающегося от других (что было во все времена), но и живущего в культурном обществе, до конца сознающего, дорожающего и уважающего такие отличия, считающем их очень важной ценностью (конечно, при условии, что они не имеют совершенно неприемлемого для других характера).

Под *личностью* я разумею человека, который постоянно находится в *состоянии диалога* с известными ему современными или давно ушедшими людьми, идеями, мировидениями и произведениями культуры, а также постоянного *диалога с самим собой*, напряженной саморефлексии. При этом выбор между жизненными ориентациями производится исключительно по его личному решению и всецело под его ответственность. И что крайне важно – индивид присваивает те или иные из них и делает своими *внутренними* убеждениями и принципами ума и поведения. Человек превращает эти усвоенные обычно извне, из привычной ментальности, или – изредка сотворенные наново или сдвинутые им смыслы – в интимные элементы своего Я, которые он считает более высокими, чем само это его эмпирическое Я.

Пушкин нарек сие куда проще и короче: «*самостоянье человека*».

Все индивидуальные убеждения находятся в более или менее системной оригинальной связи, но могут быть и

весьма противоречивыми, как и характер самого индивида. Притом образованное общество, разумеется, знакомо с понятием личности и крайне дорожит им в ряду прочих ценностей. С ним неразрывна также идея толерантности.

З Хочу быть правильно понятым. У меня в этом и *только в этом* направлении есть кое-какие соображения о Руссо. Я пришел к ним после многолетних исследований индивидного (поэтому и макросторического) самосознания – от Августина до преимущественно итальянского Возрождения – и на фоне того, что нам известно о дальнейшем развитии идей «индивидуальности» и «личности» вплоть до нынешних дней.

Следовательно, замечательные рефлексивные самооценки Руссо могут служить лишь материалом для современных соображений об этих самооценках. Я обязан не просто наивно вторить мыслям Руссо, но собственным ходом прийти к ним и оценить в концептуальном контексте, беспримерно более обширном, чем весь Руссо и даже все Просвещение. То есть, почтительно, критически и любовно читая «Исповедь» или «Прогулки», одновременно действовать перпендикулярно к тексту. Глядеть одновременно извне и изнутри него.

Однако, преследуя такую задачу, сразу же сталкиваюсь со странным затруднением.

Все наиболее существенное, к чему я хотел бы прийти в результате анализа книг Руссо, уже сказано, пожалуй, им самим, притом на первой же странице «Исповеди»... Если начать с цитирования этого потрясающего высказывания, – а это наиболее прямой и прозрачный ход для моего построения, – я рискую оказаться в смешном положении. Чуть ли не все мои усилия словно бы предусмотрены самим Жан-Жаком. Причем я, разумеется, не в силах сформулировать

его феноменологические тезисы столь мощно и прекрасно. Меня, однако, выручает именно то обстоятельство, что они остаются феноменологическими. По преимуществу эмпирическими и всегда приватными. Это значит, что Руссо рассуждает не столько об общих *понятиях*, сколько просто о своей жизни и душе. Он не мог еще судить о себе в том логико-культурном плане и всемирно-историческом масштабе, которыми владеет (должен, по-моему, владеть) современный толкователь.

4 Для начала все же придется решиться именно на такой, почти вызывающий, риск. То есть начать с главного и напрямик. Иначе говоря, начать с заключения, которого, стало быть, потом и не будет. Или оно будет возвращением к началу, но уже пропущенным сквозь весь ход разборов и, следовательно, надеюсь, доказательным и углубленным.

Далее попробую – поневоле выборочно и пунктирно, ибо объем материала слишком непомерный и разноплановый, – проследить, насколько мы вправе довериться самооценкам автора, риторика ли это либо впрямь первая развернутая, точная и правдивая формула новоевропейского личного самосознания.

Вот это знаменитое вступление к первой книге, вот с каких слов начинается «Исповедь».

Я предпринимаю дело беспрецедентное, которое не найдет подражателя. Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей правде его природы, и этим человеком буду я.

Я один. Я знаю свое сердце и знаю людей. Я создан иначе, чем кто-либо из виденных мною; осмеливаюсь думать, что я не похож ни на кого на свете (выделено здесь и далее мной, кроме оговоренных случаев. – Л. Б.). Если я не лучше

других, то, по крайней мере, не такой, как они. Хорошо или дурно сделала природа, разбив форму, в которой она меня отлила, об этом можно судить, только прочтя мою книгу.

Пусть трубный глас Страшного суда раздастся когда угодно, – я предстану с этой книгой в руках перед независимым судьей. Я громко скажу: «Вот, что я делал, вот что думал, *вот чем был*. С одинаковой откровенностью рассказал я и о хорошем, и о дурном. Дурного ничего не утаил, хорошего ничего не прибавил; и если что-либо незначительно приукрасил, то лишь для того, чтобы заполнить пробелы моей памяти. Может быть, мне случалось выдавать за правду то, что мне таковой казалось, но никогда я не писал заведомую ложь. Я показал себя таким, каким был в действительности: презренным и низким, когда им был, добрым, благородным, возвышенным, когда был им. Я обнажил всю свою душу (или в оригинале: *снял завесы с моей души*. – Л. Б.) и показал ее такую, какой видел ее ты сам. Вечно сущий, собери вокруг меня неисчислимую толпу *подобных мне*: пусть они слушают мою исповедь, пусть краснеют за мою низость, пусть сокрушаются о моих злополучиях. Пусть каждый из них у подножия твоего престола с такой же искренностью раскроет сердце свое и пусть потом хоть один из них, если осмелится, скажет тебе: "*я был лучше этого человека*"» (последние слова выделены Руссо. – Л. Б.)².

Этот манифест помнят все, кто читал «Исповедь». Многие исследователи считают, что уже в нем сказывается психическая болезненность Руссо: самовозвеличение, противопоставление себя всем «другим», мания преследования. И делают подобные оценки ключом к личности Руссо.

Это неправда.

Признаки неких душевных сдвигов действительно в известной мере проявятся, но лишь в старости, под

воздействием сильных стрессов. Начиная примерно с начала шестого десятка лет. И дело не во врожденных предпосылках, не в одних лишь тонкокожей обидчивости и сложном характере, а в объективных исторических обстоятельствах и обусловленной ими злосчастной судьбе Жан-Жака.

Судьба же была сформирована не только политическим и прочим радикализмом воззрений Руссо, а прежде всего тем, что он был *первым в истории человеком, который воспринимал себя, как мы теперь сказали бы в стиле Бахтина, исключительно «в горизонте личности»*. Такое обычно не прощается. Не только плебеям на закате феодальной словности, где это понятие еще не было известно, но и много позже, В наши дни тоже.

За такое следует расплачиваться. Руссо расплатился, наверно, первым.

Он ведь – Жан-Жак Руссо! За это и был исторически наказан.

5 Заметим сразу же самое очевидное: формально обращаясь к «Вечно существу», т. е. к Богу, Руссо тут же собирает вокруг него все человечество, «неисчислимую толпу своих собратьев», своих будущих читателей, он громко апеллирует ко всем и каждому и объявляет себя не худшим, а даже лучшим, чем любой из индивидов, требуя при этом, чтобы исчерпывающий самоотчет был развернут кем-либо из нас «с такой же искренностью».

В связи с последним: в какой мере сочинение Руссо впрямь принадлежит к жанру исповеди? Чтобы ответить конкретно и определенно, требуется кое-что выяснить. Кому исповедуется Жан-Жак (если исповедуется)? Кается ли он в грехах, без чего исповедь, разумеется, теряет цель и смысл, или только рассказывает о своих ошибках и сла-

бостях, пытаясь разобраться в себе? Или только сожалеет о них? Требуется ли затем эпитимья?

Конечно, это риторические вопросы...

В какой мере повествование нагружено подробностями, не имеющими никакой связи с исповедальной интонацией? Короче, каков в конечном счете жанр «Исповеди»?

Тут я не скажу ничего нового. Давно признано, что это *сентиментальный роман об истории своей души*³.

Безоговорочно, бесстыдно и более или менее хладнокровно добираясь до малейших интимных деталей, Руссо исходит из того, что все люди примерно сходны, но притом удельный вес и мотивы при сочетании слабостей и достоинств, их тончайшие оттенки, противоречия, строй чувств, ума и характера, знания и опыт, взаимопереходы разных сторон натуры составляют неповторимые, уникальные суть и итог индивидуального существа. И вот Жан-Жак завершает монолог тем, что на свете нет человека лучше, чем он, Жан-Жак.

Начиналась ли хоть одна исповедь столь странно?

В первой (так называемой невшаттельской) редакции вступления Руссо ограничивается социально-психологической стороной и парадоксами своего необычного начинания. Упреждая моралистические нападки читателей и заранее соглашаясь с ними («Я говорю... о себе самом самые отвратительные вещи, в которых вовсе не желал бы оправдывать себя, но это в то же время самая сокровенная повесть о моей душе, это моя исповедь в строжайшем смысле слова»), Руссо поясняет это стремлением к *«полнейшей правде о малейших движениях души»*. Пусть кто-либо другой попробует сделать то же самое, ему не достичь беспощадной к себе откровенности Жан-Жака. И потому: «Все-таки я лучше этого человека» (с. 673).

Неподдельная искренняя скромность, но и такая же гордыня, притом исходящие из одного источника – из уникальности своего «Я» – т. е. слиянные в одно.

6 Сам автор, как мы видим, тем не менее традиционно называет свое повествование «исповедью в строжайшем смысле слова». Конечно, «исповедь» (les Confessions, т. е. «исповеди» – во множественном числе, что необычно; или, если угодно, «Признания») – взята здесь не в привычном тогда предметно-обрядовом, не в религиозном смысле раскаяния перед Богом, а в самом общем смысле – это общепонятно⁴. Заменить это другим подходящим словом для Руссо еще невозможно. Понятий «личность» (personalité) и «индивидуальность» (individualité) в его (и не только его) словесном инструментарии пока не было, в отличие от понятия «индивидуальный». Мне удалось найти в его сочинениях неологизм «личность» только единожды (в «Диалогах»).

Речь, по существу, идет о том, что мы теперь называем «исповедальностью». Например, содержательное и интонационное самораскрытие души в «исповедальной прозе» и т. п. Это особая и проникновенная модальность повествования о себе, стилевая атмосфера или, если угодно, приемы и цель письма, и только в этом плане позволительно, как задумывал когда-то Н.И. Конрад, издать вместе такие историко-культурно, разумеется, несовместимые вещи, как «Исповеди» Августина, Руссо и Льва Толстого. Собственно, именно после Руссо вошла в обиход «исповедальность» в виде широко-эстетического, а не ритуального термина. Не в кабинке священника, не вполголоса, не охраняемый заранее предписанной тайной исповедуется перед Богом Жан-Жак. Все наоборот.

Начав рассуждения с подобных тезисов, я вынужден сразу же подкрепить их некими конкретными «греховными» эпизодами, иначе говоря, по признанию Руссо, «самыми отвратительными вещами». То есть именно тем, в чем, *если бы* речь шла о настоящей исповеди, Руссо непременно пришлось бы каяться духовнику.

Приятного в этом мало.

Все равно этого принципиально не избежать. Просто не хотелось бы приступать таким образом к работе о человеке, к которому я успел за время изучения его автопортрета относиться с нескрываемым горячим сочувствием и, надеюсь, с пониманием и беспристрастностью.

Эти вещи более или менее остро смущают самого автора и по сей день шокируют читателей. А некоторых психологически и моралистически отталкивают от него. Но ничего не поделаешь, если я решился сразу же выложить – в связи с замыслом Руссо – соображения по поводу шокирующей откровенности «Исповеди», да и других его автобиографических сочинений. Резонно касаться неприятных для бедного Жан-Жака эпизодов в той последовательности, в которой они всплывают в «Исповеди».

Книга, к сожалению, будет переполнена цитатами. Иного способа разборов и их доказательности я не вижу.

7 Смешно, что Руссо считает нужным сказать о совсем раннем детстве: «У меня были недостатки моего возраста: я был болтун, лакомка, иногда лгун ... [но] мне не доставляло удовольствия... огорчать окружающих... Вспоминаю, однако, что я помочился однажды в кастрюлю одной из наших соседок... в то время, когда она была на проповеди. Признаюсь даже, что это воспоминание до сих пор вызывает у меня смех» (с. 14).

Хорошо, нехотя улыбнемся и мы, хотя не было и не будет в мировой мемуаристике примера подобного, так сказать, *избыточного педантизма правдивости*. Даже если начинают с детских, самых первых отрывочных воспоминаний. Этот ненужный пустяк должен насторожить нас, показывая небывалую планку его откровенности.

Важные примеры начинаются с восьмилетнего возраста, когда присматривавшая за ним тридцатилетняя деви-

ца Ламберсье, с которой в холодные ночи ему доводилось спать в одной постели и к которой мальчик был привязан, вздумала в наказание за какие-то проступки прибегнуть, по-видимому, к неким слишком интимным шлепкам: «Мне неудобно высказаться яснее, однако нужно сделать это» (с. 18 и след.).

Жан-Жак признается: «...это самое странное наказание заставило меня еще больше полюбить ту, которая подвергла меня ему». «Рисуя в воображении лишь то, что почувствовал, я, несмотря на кипение крови, причинявшее мне сильное беспокойство, мог устремлять свои желания только к известному мне виду сладострастия (...) В своих глупых фантазиях, в своих эротических исступлениях я прибегал к воображаемой помощи другого пола, не подозревая, что он пригоден к иному обращению, чем то, к которому я пламенно стремился». (Характерный для Руссо неожиданный прикус шутилки самоиронии.)

Говоря о «преждевременно развившемся половом инстинкте», Руссо далее восклицает: «Кто бы мог подумать, что это наказание... определило мои вкусы, мои желания, мои страсти, меня самого на всю остальную жизнь, и как раз в направлении, обратном тому, что должно было произойти естественным путем». Эти и дальнейшие интимные откровения на ту же тему, пожалуй, самые разительные во всей «Исповеди», да и вообще в мировой литературе.

Я сделал первый и самый тягостный шаг в темном и грязном лабиринте моих признаний. Трудней всего признаваться не в том, что преступно, а в том, что смешно и постыдно. Отныне я уверен в себе: после того, что я только что осмелился сообщить, ничто уже не сможет остановить меня Чего стоят мне подобные признания, можно судить по тому, что в течение всей моей жизни меня не раз увлекало безумие страсти возле тех, кого я любил, лишая меня способности видеть и слышать ... но никогда я не мог отва-

житься признаться в моем безумии даже в самых интимных отношениях, умолять о единственной милости, которой мне недоставало <...> И это безумие, в сочетании с моей природной робостью, делало меня всегда очень непредприимчивым с женщинами ... ибо тот род наслаждения не мог быть ни самостоятельно осуществлен тем, кто его желал, ни угадан той, которая могла его доставить.

Достаточно. Хотя Руссо довольно прозрачно намекает на подробности своих сексуальных комплексов, начавшихся с не совсем обычного детского «отклонения», это, конечно, не может нас занимать. Существенно совершенно иное.

8 Руссо не только не кается в растянувшемся на всю жизнь детском грехе, но и почти не сожалеет о нем. Разве что в том смысле, что это затруднило ухаживание и интимное общение с женщинами. «Моя прежняя детская склонность, вместо того чтобы исчезнуть, до такой степени соединилась с другой, что я никогда не мог отделить её от желаний, зажженных чувственностью... всю жизнь я вожделем и безмолвствовал перед женщинами, которых больше всего любил». Жан-Жака – и это поразительно – занимает с первого же шага не только и не столько событийный ряд, описание того, что же с ним происходило с самого раннего детства, но детальное проникновение через внешние обстоятельства в свой внутренний мир, в сопутствующие переживания, в мотивы поступков и реакций на эти события.

Короче, в центре внимания Жан-Жака самоанализ. Это, конечно, слишком очевидно для всех, но споры идут о психологической основе признаний Руссо и о том, насколько можно доверять его рассказам и толкованиям событий.

Это попытки дать себе и читателю исчерпывающий отчет о подоплеке своего поведения, а наряду с этим и о

внутренних пружинах поступков других людей. Даже какой-нибудь «маленькой мадемуазель Готон», мельком встреченной в ее 11 лет (с. 29). «Пусть представят себе характер, робкий и покорный в повседневной жизни, но пламенный, гордый, неукротимый в страстях...», etc.

Непрерывная рефлексия на себя в «Исповеди» – довлеющая себе и чуть ли не единственная задача сочинения⁵.

Восходя таким образом к первым проявлениям моих чувствований, я нахожу в них элементы, кажущиеся иной раз несовместимыми, но тем не менее соединившиеся, чтобы с силой произвести действие однородное и простое...

Таким образом, я очень мало обладал, но это не мешало мне наслаждаться по-своему, т. е. в воображении. Вот каким образом мои чувственные стремления, в согласии с моим робким характером и романтическим складом ума, сохранили в чистоте мои чувства и мою нравственность...

Я хорошо понимаю, что читателю не очень нужно все это знать, но мне-то очень нужно рассказать ему об этом (с. 24). ...проследить во всех мелочах то, что происходило во мне (с. 22).

Очень любопытны рассказы о том, как изменился подросток в то время, когда его отдали в подмастерья к граверу, «грубому и резкому» Дюкоммену (с. 32–39). «Латинский язык, античный мир, история – все было забыто надолго; я даже не вспоминал о том, что на свете существовали римляне. [...] Самые низкие наклонности, самое гнусное озорство заняли место милых забав, не оставив о них даже воспоминания. Видимо, несмотря на самое благопристойное воспитание, у меня была большая склонность к нравственному падению, так как совершилось оно очень быстро...» (с. 32).

Например, Жан-Жак рассказывает о краже яблок у хозяина. «Воспоминание, до сих пор заставляющее меня и дрожать, и смеяться» (с. 35). Отчасти сходный эпизод с

мальчишеским налетом на соседский яблоневый сад есть в «Исповеди» Августина. Однако блаж. Августин кается в этом вполне серьезно, и ему не могло бы прийти в голову одновременно «смеяться». Речь, впрочем, никогда не шла о деньгах.

Листок хорошей бумаги для рисования больше соблазнял меня, чем деньги, на которые можно купить целую стопу. Эта странность проистекала из-за одной особенности моего характера, имевшей такое сильное влияние на мое поведение, что необходимо ее объяснить. У меня очень пылкие страсти, и если они волнуют меня, ничто не может сравниться с моей горячностью: тогда для меня не существует ни осторожности, ни уважения, ни страха, ни приличия; я становлюсь циничным, наглым, неистовым, неустрашимым; стыд не останавливает меня, опасность не пугает; кроме предмета, который меня увлекает, весь мир для меня ничто. Но все это длится только мгновение, и вслед за тем я впадаю в оцепенение. Застаньте меня в спокойном состоянии, – я воплощенная вялость, даже робость; все меня тревожит, все отталкивает; пролетающая муха пугает меня; сказать слово, сделать движение – мысль об этом приводит в ужас мою лень... (с. 36–37).

Потом следует обстоятельный рассказ об отношении Жан-Жака к деньгам и «об одном из моих мнимых противоречий: соединение почти скарредной скупости с величайшим презрением к деньгам ... Я обожаю свободу, ненавижу стеснение, нужду, подчинение. Пока есть деньги в моем кошельке, они обеспечивают мне независимость ... Деньги, которыми обладаешь, – орудие свободы; деньги, за которыми гонишься, – орудие рабства. <...> Вот почему я хорошо прячу их и никогда не стремлюсь их приобрести». (Принципы его искренни, рассуждения вполне разумны, но на деле, как следует из той же «Исповеди», все было несколько иначе, и

за деньгами все же приходилось иногда волей-неволей «гоняться», т. е. изредка принимать их в дар либо просить о хорошо оплачиваемой работе.)

«Итак, я был воришкой, иногда бываю им и теперь [!], таская соблазняющие меня мелочи, которые я предпочитаю взять без спросу. Но ни в детстве, ни в зрелом возрасте я не помню, чтобы когда-нибудь украл у кого-либо хотя бы ливр...».

Поражает, что мелочную kleптоманию Руссо ничуть не осуждает и оправдывает ее в себе свойствами бескорыстия, которое «не что иное, как леность», и вместе с тем горячечной спонтанностью порывов.

Нужно помнить, что Руссо не случайно, не только из-за происхождения и обстоятельств, но и по причине своего независимого характера и обостренного чувства собственного достоинства всегда был бедным человеком. В молодости он служил лакеем, тогда же, да и в зрелые годы, даже в старости, он то и дело за более чем скромную плату подрабатывал перепиской нот – этим и держался. Он был гувернером, затем служил «секретарем», а по сути делопроизводителем у французского посла в Венеции, позже три недели испробовал себя в качестве сборщика налогов и т. п. Притом в нем всегда сохранялось что-то подростковое, к его мудрости – примешивалось, как можно заметить, нечто непосредственное и импульсивное. К серьезности же и прямоте – нечто вроде наивности.

...Этот немного странный мальчик из Женевы, отданный в мастерскую ремесленника-гравера, чтобы из него что-то вышло...

9 «...Чтение отбило у меня охоту ко всякой деятельности. Всецело предавшись своей новой страсти, я только и делал, что читал, и уже не воровал больше. Хотя сперва я

читал без разбора все, что попадалось под руку, но от книг непристойных отшатывался столько же от отвращения, сколько от стыда ... Мои взволнованные чувства уже давно требовали удовлетворения, о котором я не имел даже понятия, и я был так далек от этого, как будто у меня не было пола; уже возмужалый и чувственный, я думал иногда о своих безумствах, но дальше их не видел ничего. В этих странных обстоятельствах мое беспокойное воображение выбрало путь, который спас меня от самого себя и успокоил зарождающуюся чувственность. Он заключался в том, чтобы переноситься в положения, которые заинтересовали меня в книгах, вспоминать, изменять прочитанное, приноравливать его к самому себе, превращаться в одно из действующих лиц ... *Любовь к воображаемым предметам ... окончательно отвратила меня от всего окружающего и определила мою склонность к одиночеству, оставшуюся у меня с тех пор навсегда*» (с. 40 и др.).

10 С удовольствием позволю себе миновать еще несколько эпизодов, достаточно обычных, но весьма нелестных для Руссо. Автор, кроме одного случая, далек от самоосуждения, зато, как всегда, крайне обстоятелен и красноречив при описании своих чувств (см., например, с. 79–81, 119, 158–169, 183, 279–282 и др.). Скажем, в детстве из-за «тирании хозяина» «привык я таить свои желания, притворствовать, лгать и, наконец, красть – склонность, раньше не свойственная мне, но от которой с тех пор я не мог полностью излечиться» (с. 84).

Понимаю, что подобранные примеры либо мелочны, либо сводятся почти исключительно к интимностям, которые любой другой автор опустил бы. Например, очень подробное и всю жизнь раздиравшее душу горькое воспоминание о том, как он в юности, в очередном чужом

доме, где служил, почему-то украл совершенно не нужную ему «маленькую ленту, розовую с серебром, уже поношенную». И вдруг, когда ее нашли у него, «с дьявольской дерзостью» возложил вину на ни в чем не повинную милую служанку Марион, которую тут же уволили, и о дальнейшей, скорее всего злополучной, судьбе ее он ничего не знает (с. 79–80). Да, это детский, но серьезный и неискупимый эпизод.

Или упоминание о полосе юности, когда он, живя у г-жи Варанс и переполненный рано созревшей и неудовлетворенной чувственностью, уступил соблазнам мастурбации. Тут уж прямо-таки хочется крикнуть ему: «Дорогой Руссо, зачем?» Повторяю, во все времена, пожалуй, ни один автобиограф не заикнулся бы об этом. Но не Жан-Жак.

11 Однако вот последнее и действительно очень серьезное и тяжелое для Руссо обстоятельство его жизни. Человек предельно впечатлительный и, начиная со встречи в шестнадцать лет с мадам де Варанс («маленькой»), мгновенно поддававшийся обаянию женщин, пройдя через многие страсти, Жан-Жак во вполне зрелом возрасте знакомится с девицей по имени Тереза Левассер, белошвейкой из заурядной семьи. «Она была очень застенчива, я тоже. Это общее нам свойство, казалось, отдаляло возможную связь, однако она установилась очень быстро ... Она решила, что нашла во мне порядочного человека, и не ошиблась. Я решил, что нашел в ней девушку сердечную, простую, без кокетства, я тоже не ошибся. Я заранее объявил ей, что никогда ее не брошу, но и не женюсь на ней» (с. 288).

Первое сбылось. Что до второго – Руссо женился на своей Терезе на склоне дней, в 1768 г., т. е. за десять лет до

кончины. Поначалу он искал всего лишь возможности развлекаться.

Я увидел, что достиг большего – нашел себе подружку. Немного привыкнув к этой превосходной девушке и поразмыслив о своем положении, я понял, что думал только о своем удовольствии, а встретил счастье. Мне нужно было взамен угасшего честолюбия сильное чувство, которое наполнило бы мое сердце. *Нужно было, если уж говорить до конца, найти преемницу маменьке*: раз мне не суждено было жить с ней, мне нужен был кто-нибудь, кто стал бы жить с ее воспитанником и в ком бы я нашел простоту, *сердечную покорность* (la docilité de cœur), которую она находила во мне. Надо было, чтобы отрада честной и домашней жизни вознаградила меня за отречение от помыслов о блестящей судьбе... (с. 408).

Вот еще одно подтверждение некоторого инфантилизма его чувствительного сердечного склада, – может быть, из-за незнания в детстве материнской ласки, так и не восполненного до конца нежностью любовниц. Однако, очевидно, куда точнее раздумывать не об инфантилизме, а об необычно большой доле женского в мужском душевном устройстве и поведении Руссо. Видите ли, я давно понял (и это мнение принадлежит вовсе не мне), что в человеческих существах обоих полов всегда присутствуют и мужское и женское, начала. Лишь в разных пропорциях и окраске.

Если мужское пусть не до конца, но слишком уж сводится к мужскому, а женское к женскому, тогда при встрече и привязанности двух людей – это столкновение «противоположных» полов, это часто трагическое и генетически обусловленное непонимание. А изредка именно это приводит к созданию счастливых пар. Очень нередко бывает не равновесие (возможное ли? удачное ли? не знаю), а более

или менее заметный переко́с. То есть бывают *мужчины* (плохо дело, ежели не так) с сильной долей женского – по части податливости ласке, тонкой нежности, привычке любить *также* и «ушами», повышенной эмоциональности (и внешней тоже, ведь есть еще и *спрятанная* огромная, характерно мужская эмоциональность), вообще в интенсивности или даже в распахнутости чувств, в значимости сердца.

Таким и был Жан-Жак, многократно писавший, что сердце важнее рассудка, хотя разума и мужественной независимости ему, кажется, доставало.

И (что к нашей теме уже не относится) есть не только очаровательно и насквозь женственные женщины, но и женщины с сильной долей мужского начала, делового, активно предприимчивого, внешне невозмутимой эмоциональности – например, успешные «бизнес-леди». Или великие женщины в политике. Притом многие из них вовсе не лишены очарования. Каждый знает или даже лично знаком и с теми и с другими.

Оставшись совсем один, я почувствовал пустоту в сердце ... В Терезе я нашел восполнение, в котором нуждался, благодаря ей я прожил жизнь счастливо, насколько это возможно было по ходу обстоятельств.

Сперва я решил развить ее ум. Напрасный труд. Ее ум таков, каким его создала природа: культура и образование не прививаются к нему. Я не краснею признаться, что она никогда не умела хорошо читать, хотя пишет сносно. <...> Против моих окон были часы, по которым я пытался больше месяца научить ее узнавать время. И теперь она с трудом узнает его. Она никогда не знала порядка, в котором следуют названия месяцев года, и не знает ни одной цифры, несмотря на все мои старания ознакомить ее с ними. Она не умеет считать деньги и совершенно ничему не знает цены. Слово, которое сходит у нее с языка

в разговоре, часто противоположно тому, что она хочет сказать. Когда-то я составил словарь ее выражений, чтобы позабавить герцогиню Люксембургскую, и смешные обмолвки Терезы прославились в домах, где я бывал. (Нехорошее поведение, дорогой Жан-Жак, а ты и не заметил противоречия с тем, что написал до этого и далее. – Л. Б.). Но эта женщина, такая ограниченная и, если угодно, такая тупая, отличается величайшей сообразительностью в затруднительных случаях. Часто при постигавших меня катастрофах она видела то, чего не видел я сам, она давала мне наилучшие советы; она выручала меня из опасностей, в которые я слепо ввергался; и среди женщин самого высокого круга, среди вельмож и принцев ее чувства, здравый смысл, ответы и поведение обеспечили ей всеобщее уважение, а мне – похвалы, в искренности которых я не мог сомневаться.

Возле любимых людей чувство питает и ум, и сердце, и мало испытываешь нужды искать мыслей на стороне. Я жил со своей Терезой так же хорошо, как жил бы с величайшим гением мира. Ее мать ... нарушала своими ухищрениями простоту наших отношений. Досада на эту помеху заставила меня до некоторой степени превозмочь глупый стыд, мешавший мне показываться с Терезой *на людях*, и мы совершали вдвоем небольшие прогулки в поле (это называется *на людях*? – Л. Б.) и устраивали маленькие завтраки, восхитительные для меня. Я видел, что она искренне меня любит, и это удваивало мою нежность. Ее милая близость заменяла мне все...

Эта привязанность сделала для меня всякое другое развлечение излишним и пустым (в описываемый момент? Позже это окажется неверным. – Л. Б.) и столь благоприятным для моей работы, что меньше чем в три месяца моя опера была закончена полностью – музыка и текст... (с. 288–290, «Галантные музы»).

12 Длинные выписки о Терезе, пережившей Руссо (умершего 2 июля 1778 г.) почти на четверть века (1801), понадобились не только для того, чтобы рассказать о подруге, а затем венчаной жене, которая придала его жизни домашность, освободила от многих бытовых забот и смягчала (или подчас напротив?) по мере сил болезненную нервность и страхи, омрачившие вторую половину жизни. Но и для некоторого лучшего понимания его личности и главной печальной прорехи существования Жан-Жака, о которой он поведал с тягостными чувствами.

Дело в том, что Тереза родила ему между 1746–1752 годами пятерых детей. И он тотчас же отдавал их в воспитательный приют для подкидышей, одного за другим, и больше не интересовался ими... Полагая, что там из них вырастут добропорядочные «работники и крестьяне», «en les destinant – devenir ouvriers et paysans» (р. 437).

Пока я философствовал об обязанностях человека, [это] заставило меня задуматься о своих собственных обязанностях ... (очередная искра самоиронии. – Л. Б.). Слишком искренний с самим собой, слишком гордый внутренне, чтобы допустить противоречие между своими принципами и поступками, я принялся размышлять о будущем своих детей и о своих отношениях к их матери – согласно законам природы, справедливости и разума, а также той чистой, святой и вечной, как ее творец, *религии, которую люди осквернили, прикрываясь желанием ее очистить, и превратили своими формулами в какую-то религию слов*, – потому что нетрудно предписывать невозможное, когда не даешь себе труда исполнять предписания.

Если я и ошибался в выводах, нет ничего изумительней душевного спокойствия, с которым я следовал им. Если бы я был одним из тех людей, дурных от рождения, глухих к кроткому голосу природы, в груди которых никогда не зарождалось истинного чувства справедливости и человече-

ности, такое очерствление было бы вполне естественным; но эта сердечная теплота, эта живая впечатлительность, эта способность привязываться и подчиняться своим привязанностям, эти жестокие страдания, когда приходится их разрывать, эта врожденная благожелательность к ближним, эта пламенная любовь ко всему великому, истинному, прекрасному, справедливому, эта неспособность ненавидеть, вредить и даже желать зла другому, это умиление, это живое и радостное волнение, испытываемое мною перед всем, что добродетельно, великодушно, честно, — может ли все это сочетаться в одной душе с испорченностью, попирающей без зазрения совести самую нежную из обязанностей? Нет, я чувствую и смело говорю: это невозможно. Никогда в жизни, ни на одну минуту Жан-Жак не мог быть человеком бесчувственным, жестокосердным отцом: отцом-выродком (*denaturè*, р. 437). Я мог ошибаться, но не очерстветь. Если бы я объяснил свои основания, я сказал бы лишнее.

Тут хотелось бы прервать аффектированный и противоречивый оправдательный монолог автора «Исповеди», и заметить следующее.

Объяснить основания («*Si je disais mes raisons...*») отнюдь не было бы лишним. Впрочем, тут же Руссо обиняками все же слегка приоткрывает завесу: «...Не будучи в состоянии сам воспитывать своих детей и отдавая их на попечение общества, я верил, что поступаю, как гражданин и отец...».

В письме к Сюзанне Дюпен в 1751 г. Руссо настаивает на практической необходимости такого поведения. Его принудили к этому бедность и беды, а также необходимость подчинять свою жизнь творчеству. По существу, оставить детей у себя, значило бы предоставить их воспитание семье Терезы и особенно ее матери, которую Руссо считал приземленной негодяйкой, от души опасался ее и ненавидел. «Вы знаете положение вещей. Я ежедневным трудом еле зарабатываю на хлеб насущный, каким образом я мог бы прокормить еще и семью.

И, если я вынужден продолжать сочинять, то как это можно было бы совместить с домашними хлопотами...». А писать ради заработка – значило бы заняться гнусным делом. Далее Руссо убеждает корреспондентку (или себя), что в приюте, хотя и не нежничая, детей научат благодетельности и ремеслу.

Он предпочитал бы заботиться о детях сам. Его не нужно бранить за некое преступление, это его несчастье, и надо бы не судить его за это, как за преступление, а пожалеть («с'est un malheur dont il faut me plaindre»⁶).

Тем не менее за несколько месяцев до смерти, в девятой «Прогулке одинокого мечтателя», старый Руссо вдруг возвращается к этой мучительной теме, вновь живописуя, как он вообще-то любит малышей, хотя собственных детей и был вынужден отдать в Воспитательный дом. «Я понимаю, как легко бросить мне упрек ... и нетрудно при некотором старании изобразить меня отцом-извергом, ненавидящем детей. Между тем наибольшую роль в этом поступке сыграла боязнь, что судьба их при всяком другом выходе почти неизбежно оказалась бы в тысячу раз хуже ... я должен был бы – в моем положении – предоставить их воспитание матери, которая их избаловала бы, и *ее семье, которая превратила бы их в чудовищ* ... я хорошо знаю, что ни один человек не может быть более нежным отцом, чем был бы я, если б только привычка помогла природе» (с. 652). То есть если бы дети жили с ним.

Как ни грустно, детей он, кажется, действительно любил.

13 Поразительно! В вызвавшем особое негодование и преследования властей «Эмиле» Руссо посвящает психологии детства и трудностям воспитания мальчиков (и отдельно – в сопоставлении – девочек) десятки пронизательных и переполненных смелыми мыслями страниц⁷. Почему именно «Эмиль» расколол его судьбу? Дело в том,

полагаю, что романический «Эмиль» в отличие от трактатов, которые могли показаться отвлеченными теоретическими и чудаческими умствованиями, многими читателями трудно понимаемыми, на сей раз давал наглядные и общедоступные представления о немислимо дерзкой морали и педагогике Руссо. В романе отсутствовало даже воцерковление подростка.

Причем в первой же книге «Эмиля» автор настойчиво подчеркивает негодность общественного воспитания, даже, скажем, в «смехотворных колледжах», ибо при этом хотят «уподобить индивида всем другим». Детей же нужно «не дрессировать, как лошадь на манеже ... но возвращать, как дерево в своем саду». Это возможно лишь при домашнем воспитании. «Жизнь это ремесло, которое я хочу преподать ребенку». Воспитание начинается с первого момента после рождения, уже с кормилицы. Главное – сохранять в ребенке «*sa forme originelle*», т. е. растить вот этого, особенного человека, но притом в качестве «обычного ребенка, *un enfant ordinaire*» (р. 8, 12–13, 21, 24). Стало быть, речь идет о норме. Обычный ребенок должен вырасти в непохожего на других индивида. Что до того, чтобы вырастить гражданина (*civile*), то в нынешнем обществе «человек рождается, живет и умирает в рабстве» (р. 14).

Важен выбор хорошего гувернера. Руссо сознается, что сам он не способен быть таковым на деле, но может «обратиться к перу», изобразив «воображаемого ученика» (р. 22, 24).

Он учит Эмиля прежде всего внутренней свободе и самодостаточности в такой мере, что требует, чтобы воспитанник не слушался воспитателя, если не сможет превратить назидания в собственные глубокие внутренние убеждения. Эмиль – прекраснейший юноша, он лишен слабостей, если не считать любовной ревности. Он – доведенный до совершенства, безупречный вариант Жан-Жака. Он тоже владеет ремеслом, тоже любит сельские работы и обожествляет природу.

Чего стоит один лишь трогательный рассказ в Пятой книге о том, как он и Софи, еще не сблизившиеся, возвращаются после вечерней конной прогулки только на следующий день, вызывая понятную тревогу родителей и учителя, наряду с готовыми уже суровейшими нравственными упреками. Но когда они возвращаются, оказывается, что они натолкнулись в лесу на тяжело больного и недвижимого крестьянина, доставили его домой, и Эмиль поскакал затем за лекарствами. Или история о том, как наставник с трудом убеждает воспитанника расстаться с невестой на два года, прежде чем вступить в брак – для созревания их юных душ и проверки любви. Влюбленный Эмиль сперва противится, но затем внимает увещанию.

Итак, Руссо, со многими автобиографическими намеками на трудности своего взросления, с критикой как церковного догматизма и любой нетерпимости, так и схематичного атеизма, воображает себя в роли «наставника», хотя в жизни не было более незнакомого ему занятия. Он оказывается воспитателем *весьма* пронизательным, он с захватывающим красноречием развивает неслыханные педагогические идеи. Короче, он живет, что вообще так свойственно ему, в воображении, притом здравом, хотя и несколько фантазийном и радикальном.

Роман (даже более, чем опубликованный одновременно «Общественный договор»!) вызывает бурю негодования среди властей и духовенства, его повсеместно запрещают и сжигают, – уже не в воображении, а на деле, в 1762 году, как только он вышел.

Если вернуться к «Исповеди», то Руссо там мечется и продолжает противоречить себе. «С тех пор *сердечные сожаления* не раз доказали мне, что я ошибся, однако *рассудок* не только не упрекал меня, но наоборот (...). Взвесив все, я выбрал для своих детей самое лучшее или то, что считал таковым».

Сердце или рассудок? Не нам брать на себя роль судей во внутреннем споре Жан-Жака.

Все это ужасно и действительно не сообразуется с душевной природой Руссо. Ведь этот благородный человек своих детей никогда не видел и ничего не знал об их судьбе. Между тем, повторяю, весь «Эмиль» пронизан пылкой и вдумчивой любовью к детям. В частности, в первой книге речь идет о новорожденных и об уходе за младенцами.

Только вот детская смертность в Воспитательном доме достигала, как теперь выяснили трудолюбивые исследователи архивов, 70% в год. Не думаю, чтобы Руссо это было известно.

Решусь лишь вновь заметить, что у рассудка впрямь существовали резоны. Между прочим, зная в подробностях о непрерывных вынужденных метаниях наугад постаревшего и беспомощного Руссо после изгнания с острова Сан-Пьер или особенно после бегства из Мотье, – невозможно представить его при этом окруженным оравой детей.

14 Добавим к резонам уже помянутым: у него *никогда* не было собственного жилья!

«...Я провел почти всю свою жизнь в бедности, иногда нуждаясь в куске хлеба» (с. 150). Особенно трудно пришлось в ранней молодости, например, в Лионе. Память о нужде никогда не покидала его и в сравнительно благополучные времена, отсюда то, что он называет своей «скаредностью», и боязнь залезать в долги. Как и неистребимая память о том, как начинал с ливреи лакея или о бесцельных странствиях оборванного и вечно голодного бродяги. Впрочем, сами по себе полная свобода и авантюрная независимость бродяжничества ему тогда нравились.

Он проживал изредка в гостиницах, снимал квартиры, жил в качестве гостя (или, если угодно, приживальщика) при дворах покровителей или в летних домиках у друзей, где его готовы были принять на известное время. Друзья

же оказывали ему – преимущественно в старости – иногда скромную помощь в дополнение к изредка выпадавшим и тут же потраченным гонорарам и скромным заработкам переписчика нот. Притом герцоги и маркизы, а также их супруги относились к нему весьма уважительно и деликатно, и держался он всегда самолюбиво и с достоинством. Хотя подчас неуверенно и не без вынужденных компромиссов, о которых речь еще впереди.

15 Должно быть, следует сделать оговорку относительно полутора лет, проведенных по милости покровительницы в «Эрмитаже». Так д'Эпине и он называли уединенную и полуразрушенную садовую сторожку во владениях преданного друга, госпожи д'Эпине, которая велела ее восстановить, «потихоньку и без больших затрат» отделать и меблировать, предоставив во время конной прогулки для проживания Жан-Жаку. Он был поражен неожиданностью, растроган и, как всегда в подобных случаях, оросил ее руку слезами.

(Руссо, по-видимому, впрямь часто мог прослезиться из умиления и от полноты чувств. Как наш Горький... Он сам знал это за собой. У Руссо постоянные упоминания об этом весьма подходили к стилю его сентименталистской прозы. В ней считалось необходимым быть плаксой. «Исповедь» прямо-таки пропитана слезами, но это в основном риторические фигуры. Но не только.)

Он не без некоторых колебаний щепетильности принял дар и был в восторге от маленького уютного домика, от сада и от ручья, ведущего к пруду (с. 345). «Это место, скорее уединенное, чем дикое, заставило меня мысленно перенестись на край света. В нем были те трогательные красоты, которых не встретишь в окрестностях городов, и очутившись здесь, нельзя было подумать, что находишься только в четырех милях от Парижа».

Ему удалось пробыть здесь около полутора лет до полного изменения отношений с д'Эпине. Впрочем, одновременно пребывание в любимом «Эрмитаже» было и временем начавшегося разрыва с друзьями, а затем, через несколько лет, и начала второй, скитальческой и несчастной половины жизни.

Впоследствии ему жилось относительно хорошо и просторно в течение четырех лет в домике Мон-Луи, *совсем рядом* с Монморанси, т. е. с замком герцога Люксембургского, владельца этого дома, где Руссо обустроился по своему вкусу. Пока ему не пришлось бежать из Франции.

А еще были полтора чудесных месяца на острове Сен-Пьер (см. ниже).

Вот благие просветы.

Однако после этого – пребывание в Мотье, где разразилась катастрофа, окончательно надломившая существование и душевное состояние Жан-Жака и погрузившая жизнь Руссо в непрерывное кочевье. Или, если угодно, бегство. Обо всем этом тоже ниже.

16 Но продолжим предыдущий трудный сюжет. У него не было никого, кроме Терезы, занимавшей себя уборкой, стиркой и уходом за ним. Терезе, при всех ее достоинствах, доверить воспитание детей было невозможно. У него притом не было средств для оплаты гувернеров или для обучения на стороне, да и для содержания полной семьи.

«Я оставил всякую надежду на продвижение и славу и, не думая больше о своих подлинных или мнимых талантах, ... решил посвятить все свое время и усилия на то, чтобы обеспечить существование самому себе и своей Терезе любой работой, которую вздумают предложить мне те, кто согласится оказать мне поддержку» (с. 208). Он часто сильно

хворал и вряд ли уже поэтому был бы способен воспитывать детей сам.

Он навсегда запомнил заброшенность и опасности собственного детства, когда, в конце концов, на шестнадцатом году вдруг весело пустился бродяжить, без денег даже на ближайший обед.

Тереза, как и когда-то «маменька», совсем не удовлетворяла его темперамент, он при всей громадной привязанности к обеим пишет и об этом трезво и прямо (с. 388). Как и о том, что ему доставало в них, кроме смелой чувственности, также утонченности и высокого духовного понимания. Он изменял в юности одной, в зрелые годы – другой. Он и при Терезе влюбился безумно, без памяти, до потери себя. О страсти к госпоже д'Удето еще надо будет поведать. Он переставал даже работать. Это я к тому, что где уж тут непрерывные заботы о детях.

Главное же все-таки – он должен был непрерывно сочинять! В тишине и одиночестве. Он должен был вести обширнейшую переписку с друзьями и недругами (сохранилось 26 000 писем), бывать в свете, иногда и у издателей. Вне всего этого, но прежде всего, разумеется, без лихорадочного словесного и музыкального творчества и самообразования, существование Жан-Жака лишалось почвы.

Это, допустим, наиболее эгоистичный пункт. Но и наиболее содержательный и внятный для здравого смысла. Получив Руссо как многодетного отца, мы потеряли бы его как сочинителя. Почти столь же эгоистичный, как и Руссо, читатель – со мной, может быть, согласится.

Но успокоиться на этом я не в силах, как и сам Жан-Жак до конца дней.

Поначалу Руссо считал свою позицию похвальной, он рассказывал о ней налево и направо, он ею даже хвастал в свете и слышал в ответ слова одобрения. В том числе и от Дидро, у которого тоже была подруга-простолюдинка. В те времена это было вполне принятым в отношении внебрач-

ных детей, прижитых от служанок. Как и многое иное, что Руссо считает не относящимся к своим достоинствам, но и не вызывающим, — как в других случаях, — никаких мучительных угрызений. Вроде того, что одно время он, хотя и крайне уязвленный, разделял постель госпожи де Варанс с лакеем Клодом Анэ, который даже в конечном счете понравился ему, и они сдружились... Или «съём» венецианской куртизанки на пару с приятелем. И вовсе весело о подобном же парижском эпизоде. Таковы были обыкновения, которые Руссо и не помышлял осуждать.

Тут же Жан-Жак, напротив, пишет об угрызениях и сердечных муках. Он и торжественно обеляет, и горестно обвиняет себя. Концы с концами не сходятся. Спустя много лет, возвращаясь к этой теме и поясняя, что единственным выходом было бы дурное воспитание детей в семье Терезы, лучше уж воспитательный дом, он с опозданием вспоминал, что лишил Терезу радостей материнства. «Решение, принятое мною относительно моих детей, каким бы разумным оно мне ни казалось, не всегда оставляло мое сердце спокойным ... я почувствовал, что пренебрег обязанностями, от которых ничто не могло освободить меня, наконец, угрызения совести достигли такой силы, что вынудили у меня почти открытое признание в начале “Эмиля”» (с. 515).

Что ни говори, это оставалось саднящей и задевающей личное достоинство, нерешенной проблемой до последнего дня жизни. Достаточно вспомнить эпизод в четвертой из «Прогулок одинокого мечтателя», когда на обеде в ресторации некая девица вдруг, глядя Руссо в глаза, резко спросила, были ли у него дети. «Густо покраснев, я ответил, что не имел этого счастья» (с. 606).

Но, увы, Руссо никогда не пытался хоть как-то практически смягчить проблему. При рождении четвертого ребенка Руссо в очередной раз нарисовал и передал, как обычно, с акушеркой некую именную метку. При рождении на следующий год пятого «об этом не позаботились»...

«И я сказал себе: “Раз таков обычай этой страны, то, живя в ней, можно следовать ему” ...Больше никаких размышлений с моей стороны...». Но в следующей же фразе: «В дальнейшем будет видно, какое пагубное влияние имели эти поступки на мой образ мыслей и на мою судьбу...» (с. 300).

Когда спустя 12 или 14 лет (Жан-Жак не может припомнить точней год рождения первого сына!) одна из его высокородных покровительниц, герцогиня Люксембургская, пожелала взять подростка к себе из воспитательного дома, разыскать его по архиву этого заведения не удалось. Следы затерялись. И Руссо, явно скорее довольный, чем огорченный неудачей, оправдывает себя тем, что нельзя испытывать особой привязанности к ребенку, который был вскормлен не у тебя на глазах (с. 485).

Вот вам, пусть и вынужденный, житейский прагматизм и вот противоречия гордого и независимого человека.

Как поучительно и печально.

И как безысходно.